

Кровать крутилась, все крутилось вместе с ней и вокруг нее, огненными пятнами вспыхивали в темноте слова — муль, голытьба, спурщи, голошары. И еще почему-то тихим, испуганным шепотком бормотала на самое ухо Валя — нет, не сюдой, плутой, тудой. Потом Валя заплакала, превратилась в маму, и вообще все исчезло, без следа, словно голову ему быстро и мягко погрузили в непроницаемую чернильную жижу.

Пробуждение не хотелось вспоминать и через тридцать лет. Половина жизни прошла, господи. И никто не знает, бо́льшая или меньшая. Они все победили его, жизнь победила. Штучки, как сказал отец, кончились. Пришло время выбирать. Он выбрал медицину и весь девятый и десятый классы просидел над химией и биологией, которые не особенно и любил. Отец откровенно обиделся, мать гордилась. Оба и не догадывались, что дело не в семейной династии, а в отличном медицинском институте, который был в Кипиневе, в отличие от военного училища. Выбери он службу — пришлось бы ехать учиться черт знает куда. Далеко от Вали.

Они встречались теперь все реже, все суше — новых слов становилось меньше, старые стремительно утрачивали акту. Он бо́льшая спросить про шепот, про ту ночь, было или не было? Она молчала, ПТУ прилагало ей неожиданной надменности, словно она не на штурку училась, а готовилась к восшествию на престол. Он остался школьником в синей форме, она уже умела класть плитку. Пятнацать лет. Колготки из толстого дешевой капрона, туфли на небольшом, но все-таки каблучке. Лифчик, мама дорота, настоящий лифчик, розовые бретельки, которые она и не пыталась поправлять. Какой-то Гена, который умел курить ватяг. Что он мог предложить взамен, кроме выученной наизусть формулы фенилаланина? Теперь они ходили разными дорогами и в разное время.

Под Новый год он выпросил свидание — на матагу это больше не приглашали, телефона у Вали не было, пришлось караулить возле ПТУ. Будущие маляры и штуркутары, талдашней молодой пролетариат. Шьяканье, цуканье, харчки, матерки.

Он спрягал в карман дурацкую шапку, чтобы выглядеть хоть немного взрослее. Валя вышла с невысоким кривоногим орангутангом, ушатым, на толстых плитках шек — самая настоящая крепкая шетина. Хочешь в парк Пушкина? Она согласилась с легким вздохом, как уступила бы ребенку, который канючит надоевшую сказку.

Они шли по аллее Класиков — два ряда продолгих бронзовых бюстов. Михай Эминеску, Василе Александри, Ион Крянгэ, бог еще знает какие столпы молдавской литературы, которой, если честно, никогда и не было. Говорили, что если посмотреть в профиль на Эминеску, то окажутся шие пряди его навеки откинутых волос составят профиль уже самого автора памятника. Всадник с двумя головами. Класики провожали всех желающих к самому центру творческого мироздания — к памятнику Пушкину, онескушинской, между прочим, работы. Маленький, грустный, курчавый. Он решил, что поплывет се в первый раз именно тут — в сквозном бесснежном парке, под сенью и синью декабрьского вечера. Но сначала стихи. Доамне фереште, стихи! Всем нам когда-то было пятнацать лет. К несчастью, это очень быстро проходило.

Она смотрела в сторону, в глубину, сквозь голые черные ветки, и в самой середине строфы вдруг сказала — жалко, что «стефанин» зимой не продают, правда? «Стефания» — сладкие параллелепипеды, шедрые свои абрикосового джема, бисквита и шоколадной глазури. Все пирожные стоили 22 копейки, а «стефания» — 19. Еще одно слово — последнее.

На выходе из парка он попытался взять ее за плечи. Напрасно. Все напрасно. Десятый класс он заканчивал уже в Москве, отца, с отгличнем расшегжавшего Академию Генштаба, перевели в столицу, о чем родители, допаясь от гордости, сообщили за новгородним столом. Вершина пищевой пирамиды. Самая высшая эволюционная ступень. Отец с праздничной салютной пальбой откутирил шампанского, потянулся зеленым горлышком к бокалу сына — пусть, пусть, он теперь взрослый, можно. Это на материн испуганный взгляд. После той далекой ночи